



НОВАЯ ГАЗЕТА

«НОВАЯ ГАЗЕТА. ЖУРНАЛ» • КУЛЬТУРА

Не бойся!

Бузин открыл мне новый мир — мир большого города и
безбрежной свободы



Фото: Олег Булдаков / ТАСС

16:26, 3 февраля 2026,

Алексей Поликовский

обозреватель «Новой»

полную версию материала со всеми мультимедиа-элементами
вы можете прочитать [по этой ссылке](#) или отсканировав QR-код →



Я сидел за партой, смотрел в букварь и рассеянно слушал, как, спотыкаясь, читает по слогам Бузин. «Са-ша и Ни-на ма-лы-ши». На картинке мальчик в жёлтой рубашке трубил в дуду и вёз на верёвке игрушечный грузовик, а девочка держала за руку куклу. Скучая, я перевернул сразу полсотни страниц и очутился в конце книги, где были собраны рассказы о Ленине, Гагарине и Хрущёве. Я был развитый мальчик, читал с трёх лет, букварь прочел дома в первый же школьный день, и теперь мне на уроке было скучно.

— Ты это что? — громко окликнула меня учительница Наталья Гавриловна, огромная, полная женщина в сером платье с белым воротничком. Я молча встал. — Не отвлекайся! Работай с классом! Я молча сел.

В свой пятнадцатый школьный день я уже знал, что важно не то, что я умею читать, а то, чтобы все умели — а если Бузин не умел, то он «подводил класс». Я этого Бузина не понимал. Он сидел на первой парте в правом ряду и вел себя самым удивительным образом. Нас в первый же день научили сидеть правильно — спинка прямая, руки сложены на парте перед собой — а он в эту форму не вогнался. На парте он то растягивался вольготно, подперев голову рукой, то поворачивался боком, а ноги вытягивал в проход — словно пьяный на бульварной скамейке. Брякнуть мог что угодно. Однажды Наталья Гавриловна читала нам рассказ про летчика-полярника Водопьянова и задавала вопросы, и Бузин — хотя его ни о чём не спрашивали — вдруг выпалил озарившую его догадку: «Он Водопьянов, потому что он водку пьет!» И сердце моё действительно наполнялось негодованием на крупного, розовощекого, взлохмаченного хулигана Бузина, когда Наталья Гавриловна отчитывала его: нас же всех из-за него не примут в октябрюта!

Потом я писал в тетрадке, по тонким розовым линейкам.

Высунув из угла рта кончик языка, окостеневшей от напряжения рукой я выводил слова «шар», «сыр», «рис» наклонными буквами, одновременно с любовным вниманием слушая то, что говорит моя всезнающая, добрая, умная учительница. А она, прогуливаясь между рядами, глядя сверху на наши старательно склоненные затылки, говорила очень ценные, очень правильные вещи.

— Старайтесь, ребята, старайтесь! — ласково говорила она нам. — Терпение и труд всё перетрут! Без труда не вытащишь и рыбку из пруда, вам ясно? И вдруг её неспешное, монотонное приговаривание взорвалось резким жестом — она вырвала у Бузина из-под рук его тетрадку и гневно вздела её вверх.

— Смотрите, ребята! — мы смотрели. — Смотрите все сюда! Мы смотрели во все глаза. На раскрытых страницах висящей над классом тетрадки были огромные, неровные буквы-каракули, пляшущие между строк. — Это что такое ты тут намалевал, Бузин? — обвинила учительница под негодующий тихий ропот тридцати пяти маленьких людей. — Это что за каракули такие у тебя?

Бузин стоял, опустив голову на грудь, так что лица его не было видно; но вдруг поднял голову, и все увидели, что он смеётся во весь рот, беззлобно и жизнелюбиво, ни на что не обижаясь и непонятно чему радуясь.

— Тебе хоть кол на голове теши! — сказала Наталья Гавриловна, и Бузин, расплывшись до ушей, радостно кивнул.

— А вот ты помоги ему! Остайся с ним после уроков и научи его читать! — сказала мне Наталья Гавриловна. — Октябрюта должны помогать друг другу! Мы с Бузиным стояли у её стола. Он был крупнее меня, шире, толще — и всегда весь растерзанный. Серый школьный пиджак сидел на нем косо, воротник рубашки криво торчал из-под пиджака, мятые брюки

пузырились на коленях, и над всем этим непорядком буйно торчали его густые чёрные лохмы и помидорно-красным светились толстые щёки. Я бы обиделся, если бы меня оставили после уроков, но в Бузине был запас первобытной, девственной радости — что ему ни предложи, он всему был рад... Два по чтению? Он улыбался, как подарку. Кол по чистописанию? Он радовался просто. Остаться после уроков? Да это ж праздник!

После уроков я сидел с ним в пустом классе. «Вот смотри, тут «эн» и «и», вместе «ни». Теперь «эн» и «а», вместе «на». Читаем всё слово — Ни-на...» Бузин, желая сделать мне приятное, серьёзно глядел на буквы, но долго выдержать не мог. Энергия распирала его.

— А ты где живёшь?

— Подожди, потом! Читай давай тут! Бузин послушно опустил лицо в книгу, и его толстые губы зашевелились, осиливая слоги. — Терпение и труд всё перетрут! — ободрил его я умной мыслью и важно прошёлся по классу. Стоял второй час сентябрьского дня, светлого и прохладного, и из-за деревьев школьного сада, с голубого неба, светило приятное спокойное солнце.

— Давай пойдём на улицу! — предложил Бузин. — Ты меня на улице поучишь читать! Во дворе!

— Нет, нельзя.

— Тогда знаешь что? — идеи приходили в голову Бузину беспрерывно. — Пойдём ко мне домой. Там позанимаемся. Колеблясь, я серьёзно глядел ему в лицо и искал подвоха, но на круглой весёлой ряшке никакого подвоха не было — только жизнелюбие и дружелюбие.

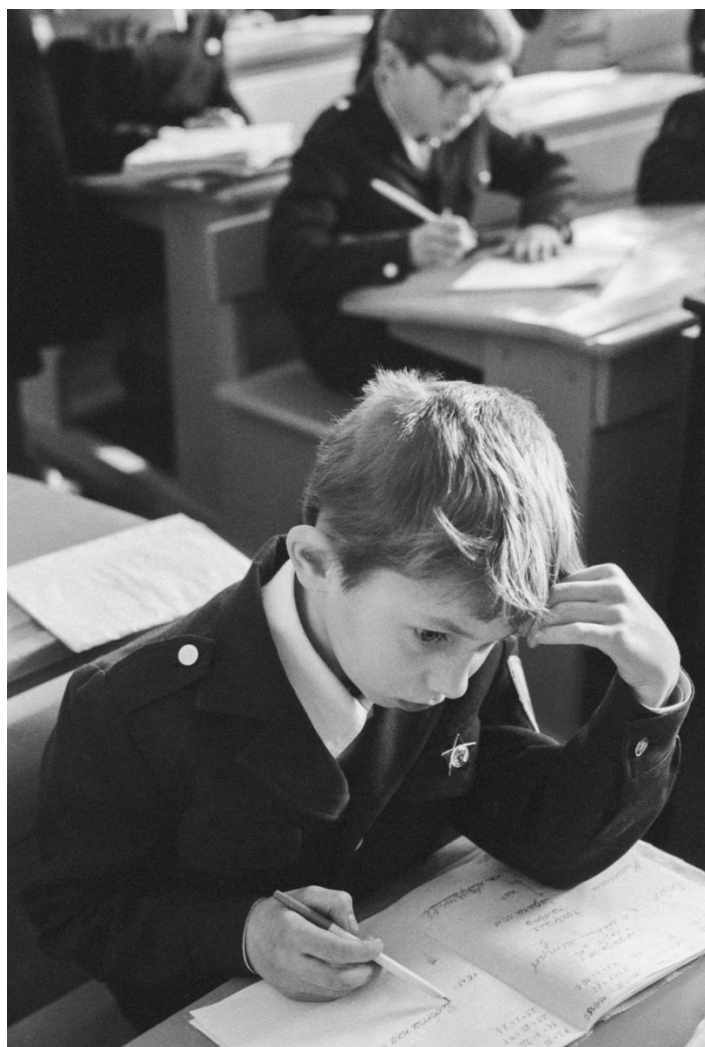


Фото: Дьяконов Юрий / Фотохроника ТАСС

Вот так я его и запомнил, этого легкомысленного олуха, семилетнего гуляку московских дворов и шалопая улиц — с взлохмаченной шевелюрой, с толстыми, чуть вывернутыми и оттого почему-то африканскими губами, со всегдашней улыбкой радости, достойной щенка, с растерзанным воротником ковбойки. Он был ко мне сразу, естественно, природно добр — в вестибюле всегда вскакивал и помогал мне после уроков надевать ранец на спину.

Проходным двором, мимо помойного бака, где прямо из-под ног брызнула серая тощая кошка, мы вышли к мрачному дому, нижняя часть которого была кирпичной, а верхняя бревенчатой. Тёмная деревянная лестница с запахом сырости вела вверх, узкое окошко сияло ярким светом. Наверху, на площадке, — дверь в войлоке, с коричневым почтовым ящиком. Бузин позвонил. Открыла женщина в вишневой блузке и

чёрной юбке — у неё было приятное мягкое лицо и каштановые волосы, собранные в пучок на затылке. Сверху она удивлённо глядела на нас.

— Мамка, здравствуй! — крикнул Бузин. — Мы заниматься пришли!

— Ага! — сказала женщина с непонятным мне выражением, задумчиво рассматривая меня сверху. — А это кто с тобой такой?

— Это мой друг, — он назвал моё имя. — Его ко мне прикрепили. Он будет учить меня читать! А ты дай нам поесть!

— Да? Ну, пусть учит. Проходите, — согласилась женщина, и мы отправились вслед за ней по коридору к кухне. Это был обыкновенный длинный коридор обыкновенной коммуналки — с крашеными красноватыми досками пола и висевшей на перекрученном чёрно-белом шнуре лампочке. Кухня тоже была обыкновенная — грубые столы вдоль стен, две газовые плиты, замазанное коричневой краской стекло над дверью в ванную. Женщина усадила нас за стол под синей клеенкой и поставила перед каждым по полной тарелке густого и горячего борща. Как только она отвернулась к плите, Бузин по локоть запустил руку в карман своих широких школьных брюк, достал оттуда перочинный нож, ногтем подковырнул лезвие и всадил его в кусок мяса, плававший в супе. Довольный собой, он подмигнул мне, извлек из тарелки на острие ножа мокрый кусок мяса и впился в него зубами. Раздался треск — женщина, повернувшись от плиты, с размаху дала Бузину подзатыльник. Он засиял в восторге.

— Аааа! Мамка, не дерись!

— Ешь как человек!

— Дерётся! — сказал мне без злобы Бузин, потирая затылок. После чего быстрым движением обтер лезвие ножа о рукав школьного пиджака, спрятал нож в карман и набросился на суп. Я тоже принялся есть — аккуратно и церемонно, как меня учили. Я до сих пор помню этот суп, которым меня, незнакомого мальчика, кормила на кухне коммуналки мама Бузина, приятная молодая женщина с простым, ясным лицом. Отца у него не было. В её отношении к сыну было что-то такое, чего я никогда до этого не встречал в отношениях родителей и детей — ирония, насмешка, лёгкое отстранение... Она заметила, что я ем медленно.

— Невкусно? Не нравится тебе мой суп?

— Нет, спасибо, мне вкусно, — ответил я, и уши мои покраснели. Я был малоежка, я не мог уплетать с реактивной скоростью Бузина густой борщ, налитый в бездонную тарелку.

— Живешь ты где?

— Мамка, он в генеральском доме живёт!

— Ну! — брови на лице женщины поднялись. — Кто ж у тебя генерал-то? — спросила она с любопытством.

— Дед.

— Ладно, мамка, всё! — сказал Бузин, резко отодвигая табуретку и вскакивая. — Мы пошли учиться! Во двор! Нам пора!

«Ну учись, учись», — сказала она сыну с тем выражением, с каким говорят с непутевым, гулящим, давшим уже сто зарок и нарушившим их все мужчиной.

Бузин открыл мне новый мир — мир большого

города и безбрежной свободы. До знакомства с ним среда моего обитания ограничивалась тремя близлежащими дворами — «Мама, я буду в нашем, соседнем или Банном!» — но никуда более я ходить не рисковал.

Мне было нельзя. Мне нельзя было после дождя скатиться вместе с покрытым пузырями и щепками потоком воды, бурлившем вдоль тротуаров, вниз по Палашёвскому, нельзя было из Банного двора нырнуть на стройку, в бетонные катакомбы. Выражаясь детским языком тех лет, я «слушался».

Бузину тоже чего-то там было нельзя, но он даже плохо помнил, что именно. То, что для меня было под запретом, который и подумать нельзя переступить, — Бузин перешагивал легко и беззаботно, нисколько не думая о последствиях. Он знал из опыта, что последствий никаких и не бывает — взрослые только пугают. «Ты не бойся!» — говорил он мне, когда мы вдвоём шагали по переулкам, удаляясь от знакомых мест. «Ты не бойся, они и не узнают!» — говорил он, возвышаясь рядом со мной — крупный, мордатый мальчик с широко расстёгнутым воротом рубашки и копной черных, взлохмаченных волос. Там, где я мучился, боясь прозорливости родителей и опасаясь собственного неумения врать, — мой друг действовал запросто, с лёгким сердцем. Он мог прийти домой когда угодно, а если его дома и ругала «мамка», то он к этому относился легко — подумаешь, надавала оплеух и оттаскала за ухо! «А ты скажи им, что тебя оставили убирать класс!» — советовал он мне, увлекая меня гулять после школы. Или: «А ты им возьми да соври!» — он не боялся слово «врать», не избегал его, врать для него не было чем-то плохим, постыдным, а было делом лёгким и очень упрощающим жизнь.



Фото: Олег Булдаков / ТАСС

До знакомства с Бузиным мне не было нужды никого обманывать. Я знал, что хорошие мальчики не обманывают. Я был непорочен. Но теперь, в первый же школьный месяц, моя жизнь вступила в противоречие с жизненными правилами, которыми меня, как комом ваты, окружали мама и бабушка. Я ощущал это противоречие, отправляясь после школы не домой, а гулять с Бузиным — но пока что, в сентябре, как-то ухитрился избегать прямой лжи и ограничивался умолчаниями. А может быть, в том сентябре меня просто не допекали вопросами и допросами — ведь я был аккуратный мальчик в новенькой школьной форме, умеющий читать и считать, ведь я только что пошёл в школу, и для подозрений не было никаких оснований, и вся семья следила за мной с радостью и надеждой.

Бузин был первый встретившийся в моей жизни человек, который воспринимал жизнь

как приключение.

Я к своим семи годам уже знал, что в жизни надо стараться, надо учиться, надо трудиться, надо быть честным, надо быть аккуратным и ещё сто разных надо — мой друг Бузин на всё это плевал. Каждый день после школы он с ранцем под мышкой выходил в Палашёвский переулок, и в его взлохмаченной голове тут же возникала новая блестящая идея. Особенность его характера была в том, что он тут же осуществлял всё, что залетало ему в голову. Например, не пойти ли нам на стройку, там — он знает — в одном месте есть карбид, и не напихать ли нам теперь карбид в пустую бутылку, которую он нашел на помойке? Выйдет граната. Мы немедленно шли. Или не поехать ли нам кататься на троллейбусе по бульварам? Я послушно шёл рядом с ним, с восторгом и страхом глядя на новые, незнакомые мне дома и улицы. Зачем мы приехали сюда, зачем тряслись зайцами на задней площадке троллейбуса тридцать первого маршрута — мы оба не знали. Просто так. Радость жизни переполняла широкую грудь Бузина и его взбалмошную башку, а я поспевал за ним — маленький преступник, нарушавший заветы. Плутать по городу, по его запутанным переулкам, ехать, соскакивать, идти наугад сквозь чужие дворы, где за дощатыми столиками стучат в домино чужие мужики — во всём этом было восхитительное, чудесное, опасное приключение. Но Бузин ничего не боялся — он входил в чужие дворы уверенной, лёгкой, решительной походкой, свободной поступью семилетнего авантюриста и хозяина этого города.

Подвалы были специализацией Бузина. Он исследовал их уже несколько лет, начав изыскания чуть ли не четырёхлетней, — и теперь показывал мне своё богатство. В отдалённом дворе он знал лаз в заборе, за которым оказалась дверь, ведущая в подвал типографии, где мы бродили под низким нависающим потолком между огромными рулонами бумаги. Я залезал на

рулоны, а Бuzин упирался в них ладонями и пытался катать меня, но они не двигались. В другом дворе Бuzин знал заржавевшую дверцу в бетонной тумбе, за которой был спуск в шахту метро — мы (то есть Бuzин) бросили в шахту бутылку с карбидом, которая со свистом унеслась вниз и разорвалась со страшным грохотом. Вниз вела железная лестница. Он говорил мне, что уже лазил по ней и нашел там в стене ещё одну дверь, которая, как он считал, выводит прямо в туннель метрополитена. Неплохо туда бы попасть. Мы запланировали спуститься, вскрыть дверь и углубиться в туннели — осуществление плана было отложено до момента, пока Бuzин найдет инструмент для взлома. Он собирался своровать у какого-то «дяди Саши» — он говорил «стибрить» — плоскогубцы и ломик. Потом Бuzин рассказал мне о подвале, который начинался в соседнем с моим дворе. Я и не подозревал, что тайна существует так близко. По словам моего друга, этот подвал был началом целой сети подземных ходов, которые выводили в Кремль и предназначались на случай, если вдруг нашим правителям придётся прятаться от осадивших столицу американцев. По мнению Бузина, предвосхищавшего своей деятельностью и рассуждениями современных диггеров, все подвалы и туннели в Москве были связаны между собой, и, войдя в подвал в Палашёвском переулке, можно было выйти, например, на Арбате или даже в Серебряном бору. И, естественно, в один из дней в октябре мы собрались идти этими ходами в Кремль.



Фото: Григорий Калачьян / ТАСС

Мы были неплохо оснащены: у Бузина была с собой верёвка, отвёртка, палка, обмазанная варом, пук тряпок, спички, кирпич. Всё в карманах. Спичка вспыхивала ярко, вырывала из тьмы сводчатый потолок и противно-влажную стену, горела несколько секунд и умирала в пальцах у Бузина. Под ногами у нас были какие-то мерзкие ошмётки, ветошь, грязный хлам. Я то и дело оглядывался назад — сзади была видна обведенная сияющей полоской света дверь. Я крался за Бузиным и думал о том, как мы появимся в Кремле. Где-то у Царь-пушки откинется крышка люка, и я высуну голову. Или мы сразу попадем в подвал, а оттуда по лестнице поднимемся выше, туда, где заседает правительство? Но вскоре перед нами встала кирпичная стена. Бузин ощупывал её руками и бормотал.

— Перегородили. Раньше её не было. Я ходил дальше.

— Кто перегородил?

— Лягавые, — произнес он с невыразимым презрением. — Лягавые эти повсюду лезут, жить людям не дают!

Я не знал такого слова, но понял, что это враги.

Мы повернули назад. Наши планы расширялись: теперь Бузин собирался стибрить у дяди Саши кувалду, чтобы ломать стену, возведенную мерзкими лягавыми и преградившую нам путь в высшие сферы.

Ночью, перед тем как уснуть, я, улыбаясь, думал о Бузине. День, со всем, что мы натворили и где побывали, казался мне сейчас долгим, как жизнь, и я знал, что завтра меня опять ждёт что-то интересное...

Идеи, как я уже сказал, приходили в голову Бузину непрерывно, и осуществлял он их без задержки. Характер его позволял ему не бояться никаких последствий. Наверное, это было его семейное свойство — иначе откуда же взялась фамилия Бузин? Сейчас, думая о нём, я представляю себе череду его предков, в которых этот прекрасный характер был дан во всей своей цельности — крупные, дородные, здоровые, лихие мужики без царя в голове, незлобивые, добродушные, готовые устроить бузу по любому поводу и без повода...

Мысль украсть портфель Сташевского пришла Бузину в голову внезапно, в тот момент, когда мы после уроков по-братски близко сидели с ним в вестибюле на банкетке. Портфель очутился между нами, а его хозяин отправился в гардероб за пальто. Он уже носил пальто — значит, была поздняя осень.

Мысль умыкнуть оставшийся на минуту без надзора портфель настолько потрясла Бузина своей гениальностью, что круглое его лицо тут же засияло в восторге. Из-под чёрных лохм на меня смотрели с весёлым безумием чёрные глаза. Он схватил портфель, о котором пять минут назад и думать не думал, и галопом ринулся из школы. Я за ним. Тяжёлая школьная дверь ухнула за нами, и мы понеслись вверх по тихому Палашёвскому переулку — крупный, черноволосый, румяный, радостно хохочущий Бузин и я — восхищенный, восторженный, потрясённый. Я никогда до этого не воровал — ничего, никогда, и я ещё только привыкал к мысли, что врать можно. Но мой лихой друг жил на полной скорости — сегодня соврал, завтра украл, послезавтра уехал на троллейбусе в Лужники. И во всём этом не было порока и греха — в каком-то смысле Бузин был также непорочен, как я. Он просто так жил. Он любил бузу, чепуху, свободу.

Как кошки, мы вскарабкались на крышу полуразрушенного дома в нашем дворе. Бузин решительным рывком вытряхнул содержимое портфеля — посыпались букварь, тетрадки, деревянный угольник, последним вывалился с громким стуком пенал. Бузин сел и открыл его, сдвинул крышечку в пазах — там, разложенные по отделениям, лежали чернильная ручка, карандаши и мягкий розовый ластик. Бузин повертел пенал и передал его мне. Вообще-то ему все эти вещи совершенно не были нужны. А ещё в портфеле был большой самодельный картонный циферблат. Мы же проходили время. Валяясь на тёплой, прогретой осенним солнцем крыше, под светлым раскидистым небом, мы крутили стрелки на картонном циферблате и с ленивым презрением листали тетрадки Сташевского.

Я понимал, что совершаю что-то ужасное. Я держал на ладони розовый ластик с серым уголком — Сташевский стирал этим уголком — и чувствовал, что вещи каким-то чудесным образом хранят в себе чужую жизнь — мысли и чувства Сташевского, его

отца, его мамы и бабушки, которая однажды, когда я зашел к Сташевскому в гости, угощала меня чаем с пирожными безе. В остро отточенных карандашах, в аккуратных тетрадках, в тяжёлом ящичке-пенале, в нежном мягком ластике была их любовь. Я не знал многих взрослых слов и не смог бы назвать то, что ощущал, но я совершенно очевидно ощущал кощунство того, что сейчас делал. Но одновременно я как бы перешагивал в себе через себя самого, одновременно я отвергал свою робость и свой страх, оставлял их в дальних уголках самого себя, и презрительно глумился над вещами одноклассника Сташевского. Я листал его тетрадки с пятерками и знал почему-то, что он дурак. Сташевский — дурак! А я — молодец.



Букварь. Фото: соцсети

День длился, медленный и плавный. Мы сидели на крыше, уперев руки в железо позади спины и разбросав вытянутые ноги. Портфель Сташевского валялся рядом, он нам уже надоел.

Бужин, в очередной раз повертев в руках циферблат, размахнулся и бросил его вниз. Поток воздуха подхватил циферблат, он поплыл, описывая круги, и приземлился в битые кирпичи. Больше делать на крыше было нечего. Вскочив, Бужин стал запихивать вещи назад в портфель. Он подергал его, утрясая, а потом, швырнул вниз, туда, где лежала чёрная, пережившая уже две зимы галоша. Портфель тяжело плюхнулся на обломки кирпичей и в ту же секунду сам стал хламом. А Бужин уже слезал вниз, ногой нащупывая выступ карниза.

На следующий день мы переглядывались с Бузиным, слушая, как Наталья Гавриловна рассказывает о неизвестных негодях, укравших портфель Стасевского. В школу разбираться пришла его бабушка. Я — вежливый мальчик — поздоровался с ней и даже повозмущался негодьями. Я не испытывал никакого раскаяния. В тот день, как только мы вышли из школы, на Бузина напали третьеклассники, которые не могли простить ему какую-то давнюю бузу. Их было человек пять, они окружили моего друга и несколько раз толкнули его, начиная возню, но он не дался. Хохоча, с весёлым криком он закрутился на месте, держа ранец в вытянутой руке. Мелькали его лохмы, кружился подол пиджака и выбившаяся из-под него ковбойка, он вращался, как пропеллер, и стайка его недругов в недоумении отступала перед описывавшим круги увесистым ранцем, внутри которого лежал кирпич. Ранец мог снести голову запросто. Летели и мелькали красные щёки и весёлые глаза Бузина, нёсся по переулку его радостный вопль.

Это была уже зима — Бужин ходил в чёрном пальто, подпоясанным широким офицерским ремнём, и в чёрной вытертой ушанке. Мы опять залезли на крышу полуразрушенного дома. С крыши открывался вид в одну сторону на наш, генеральский двор, а в другую — на двор Музея революции. Тут были два высоких, в два человеческих роста, створчатых полукруглых окна, одно из которых я шесть лет спустя выбью роскошным ударом футбольного мяча,

перелетевшего забор, — и стояла зелёная тяжёлая пушка на огромных колесах и с поднятым вверх стволом. Из этой пушки в октябре 1917-го большевики стреляли по Кремлю, до которого мы так и не добрались под землей с Бузиным. Пушка появилась во дворе недавно. Я показал её Бузину, и он тут же решил лезть к ней. К пушке можно было без труда попасть по земле — через арку выйти на улицу Горького, зайти во двор Музея революции, там налево в подворотню и во внутренний двор... Но Бузин предпочёл украсить свою жизнь ещё одним приключением и потому отправился по отвесной стене вниз. Он лёг на живот, спустил ноги и плавно исчез за обрезом крыши. Он распластался по розовой кирпичной стене, раскинул руки — и медленно и неуклонно продвигался к цели, нащупывая ногой в чёрном валенке торчащие из стены крюки и цепляясь мокрыми красными пальцами за выемки и щели. Я в очередной раз посмотрел вниз, он в этот момент закинул голову назад, увидел меня и обрадовался — буйные пряди упали ему из-под ушанки на лоб, толстые губы весело проорали мне что-то ободряющее...

Я даже не успел увидеть, как он сорвался со стены, — возможно, я отвел глаза или отошёл от края крыши. Вдруг снизу раздался дикий рёв, я подбежал к краю и увидел нечто ужасное: кровь... много крови... яркой, алой крови на снегу, на зелёных колесах и поворотных рычагах пушки. Где-то там, рядом с огромным колесом, маленькой тушкой лежало тело моего друга. Вопль Бузина прорезал тихий воздух дворов, возносился к высокому небу, привлекая внимание всего мира, громогласно возвещая о том, что он и я вместе с ним совершили немыслимое преступление... Страх овладел мной, страх, которого я ни разу до тех пор не испытывал, — страх, отшибающий соображение, парализующий. Это был выброс страха, взрыв страха — того самого, который все эти недели и месяцы собирался во мне. Я преступал правила, и я был вор, и мой друг лежал поверженный в крови. Ужас охватил меня, и я бежал.

На этом можно было бы закончить эту историю — в ней,

кажется, уже есть всё: есть мой друг Игорь Бузин, которого, кстати, никто никогда не звал по имени, есть я сам — мальчик из приличной семьи, впервые в жизни нарушающий запреты и расплачивающийся за это, есть Москва и её дворы, переулки и подвалы... А можно историю здесь и не заканчивать, а продолжить — мне всегда были смешны рассказы маститых мастеров пера, точно знающих, где у истории начало, а где конец. Начало может быть где угодно, так же как и конец.



Фото: Эммануил Евзерихин / ТАСС

На следующий день я получил двойку. Первую в жизни. Потрясённый тем, что случилось с Бузиным, ощущая позор своего бегства, я весь вечер смотрел в окно, не сделал домашнее задание и соврал маме, что его просто нет. Теперь, сидя в классе, на своём привычном месте — третья парта в левом ряду, — я смотрел на мерзкую, тощую, с длинной шеей, красную двойку в

тетрадке, и не знал, что делать и как жить: ощущение страшной катастрофы заполнило меня. Я не слышал, что делалось вокруг; я был парализован собственным падением, которое в это мгновение так ясно, так отчётливо представлялось мне. «Мой внук будет отличником!» — звучало в моих ушах наивное хвастовство бабушки Клавы. «Он будет учиться на одни пятёрки!» Как радовались отец и мать, когда я пошёл в школу, как торжественно поздравляли меня! И вот... Я предал их всех. Я медленно закрыл тетрадку. Но большая, гнусно изгибающаяся двойка, не исчезая, стояла у меня перед глазами.

После школы я не пошёл домой. Я залез на гараж в нашем дворе и сидел там в горестном недоумении. Сверху, с крыши гаража, я видел, как прошел домой отец, видел, как зажглось окно нашей кухни. Я сидел на рифленой крыше и всхлипывал: невозможно было сказать маме и папе о двойке, но и не сказать было нельзя. Потом перестал всхлипывать и просто сидел на корточках, сжавшись, в отупении...

Я поднялся по лестнице к дверям нашей квартиры и долго стоял. До белого пупырышка звонка я не доставал, о своём явлении я сообщал ударами ноги в дверь. Я стоял, стоял, стоял на лестничной клетке, маясь от тоски. Потом услышал за дверью приближающиеся тяжелые шаги, испугался, что меня сейчас обнаружат — и стукнул носком валенка.

— Как дела в школе? — спросил отец.

— В школе? — переспросил я глухим голосом, делая вид, что невероятно занят валенком, не желавшим слезать с ноги.

— В школе, — сказал отец, стоя надо мной.

— Хорошо, папа, — сказал я. — Я сегодня ничего не получил. Это была первая явная ложь в моей жизни. Слова продирались сквозь моё внезапно пересохшее горло, вылетали толчками,

отрывистые и неровные, и висели в воздухе, как будто ожидая, что их встретят ударом и криком: «Ложь!» Я чувствовал, что мои оттопыренные уши налились кровью, что мой затылок, шея, острый уголок в том месте, где начинался позвоночник, — всё это открыто, голо, уязвимо и вместе с налившимися кровью ушами выдаёт ложь; тяжёлое, невыносимо-долгое мгновение я ждал, что сейчас сверху на меня обрушится кара — и уже готов был принять её покорно и терпеливо. Я даже хотел, чтобы кара была: таким вопиющим было преступление, которое я совершал, такой наглой ложь, которой я пытался спастись не от наказания, а от стыда поверженной надежды — надежды, которую я, слабый человек, не оправдал.

— Ну, молодец! — большая рука отца потрепала меня по шее. Отец ушел. Я ощутил, что весь оплываю от жара, как свеча: лоб пылал, уши пылали, ладони пылали, затылок горел, светясь из-под легких, коротко стриженных волос. Касание отцовской руки, казалось, должно было превратить меня в комок горячего, не вынесшего собственного веса воска — но ничего не случилось. Я сидел в комнате на краю тахты, ладонью гладил жёсткий ворс ковра. Сердцебиение успокаивалось, мозг остывал. Потом — прошло уже много времени — душа моя освободилась, словно с неё упала бетонная плита. Я вздохнул и подошёл к окну, в котором уже была темнота — уютная темнота с красными, оранжевыми, жёлтыми прямоугольниками московских окон. Я был теперь счастлив знанием о том, что ложь, оказывается, не убивает, что врать легко и просто...

Бузин появился в школе через неделю — такой же, каким был всегда: весёлый, лохматый, растерзанный, со сбившейся под пиджаком ковбоечкой. Теперь я знал причину его растерзанности — он постоянно лазил по подвалам и через заборы. Это было его жизненное правило: увидел забор — перелезь! Увидел отодвинутый люк в асфальте — немедленно ныряй вниз, не думая! Он снова сидел, развалясь, на своей первой парте в правом ряду, слушая вполуха, и смотрел на

Наталью Гавриловну с добродушной улыбкой. Я смутился, увидев его, входящего в класс с ранцем под мышкой, но на перемене он как ни в чем не бывало подошёл ко мне. Он вел себя так, как будто я не совершил ничего плохого, как будто я не бросил его, лежавшего в крови на заснеженном асфальте. В школьном коридоре я что-то сказал ему — спросил о том, как он это пережил... было, наверное, очень больно... выразил сочувствие. Я уже знал, что в больнице ему накладывали швы, зашивали разбитую губу.

— Да ты чего? — весело удивился он моему смущению. Рот его расплылся до ушей. — Я на скорой помощи знаешь как здорово покатался!

Этот материал вышел в тринадцатом номере «Новая газета. Журнал». Купить его можно в [онлайн-магазине](#) наших партнеров.